

СЕМАНТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ «ОТЦОВСТВА И СЫНОВСТВА» В ПОЭМЕ А.С.ПУШКИНА «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

А.Б.Перзек

(доктор филологических наук, доцент,

Кировоградский государственный педагогический университет имени В.Винниченко)

Стаття розглядає особливості останньої поеми Пушкіна у художньої системі «петровського» контексту його творчості у світлі еволюції архетипу «батька та сина».

The article investigates the peculiarities of the last Pushkin's poem in the artistic system of "Peter the First's" context of his creative work in the light of the evolution of the archetype "father and son".

В своё время известный пушкиновед, выражая достаточно распространенные представления, писал, что в «Полтаве» «проявились иллюзии Пушкина в отношении Петра, которые открыто корректировала поэма «Медный всадник» [1, 338]. Подобные подходы сохраняются вплоть до сегодняшнего дня. Однако существующие факты дают все основания считать, что, как таковых, *иллюзий* по поводу царя у поэта никогда не было. Впервые в качестве историка Пушкин дает краткую характеристику Петру, называя его «сильным человеком», «северным исполином» и отмечая его огромную преобразовательную деятельность, в «Заметках по русской истории» в 1822 году. Говоря о величии царя и даже, по мнению С. Франка, восхищаясь им [2, 401], Пушкин одновременно отмечает его деспотизм и презрение к народу – «...впрочем, все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось»; «Петр I... презирал человечество, может быть, более чем Наполеон» [3, 274].

В подобной оценке содержалось двойственное отношение к этой судьбоносной для России «отцовской» фигуре: с одной стороны, как носителю положительного державного начала, образцу монарха, масштабу и реальному созидательному величию которого не соответствовали наследники, с другой – как «самовластному государю», около которого, по определению Пушкина, процветало «всеобщее рабство» [3, 274].

На наш взгляд, стоит говорить *не об иллюзиях и обольщениях* поэта, а о его достаточно рациональной *надежде* на возобладание идеи просвещенной монархии и совершенствование сфер российской государственности, что связывалось им некоторое время с фигурой Николая I. Отсюда в «Полтаве» и предшествующих произведениях «петровского контекста» торжествует позитивный аспект семантики «отца и сына», а вместе с ней – «мысли семейной», распространяемой Пушкиным на власть и государственное устройство. Поэтому «Медный всадник» не корректировал или, говоря иначе, не исправлял «идейные заблуждения» «Полтавы», а выступал художественной актуализацией существующей, но до поры «архивированной» стороны пушкинского мировидения в изменившейся ситуации полной утраты поэтом недавних надежд. Кроме того, на пути от «Полтавы» к последней поэме есть «промежуточное» произведение «Моя родословная», где происходит сдвиг художественной концепции в сторону «петербургской повести», отразившийся в двойственном варианте воплощенного здесь Пушкиным базового архетипа пушкинской «петриады».

В «Моей родословной» (1830) во фрагменте отповеди «Фиглярину» проявляется та же узнаваемая *типология «отцовства и сыновства»* (правда, в сюжетно неразвернутом виде), что и в «Арапе Петра Великого». При этом Петр, названный поэтом «шкипер славный», так же, как и ранее, представлен сквозь призму идеализации и уже непосредственно обозначен в качестве *отца* – «И был отец он Ганнибала». Важно отметить, что поэт особо подчеркивает принцип этих взаимоотношений, где сын предстает «царю наперсник, а не раб». Однако здесь есть еще один очень интересный фрагмент, в котором воплощается история отношений пушкинского рода с властью и упомянута фигура Петра, правда уже без приема идеализации, в чем заключался свой скрытый смысл:

*С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин...*

Если исходить из того, что царь является отцом подданных – своих детей, то в ситуации наказания Петром несговорчивого пушкинского предка можно увидеть проявление всё той же воплощаемой художником мотивной схемы, но только уже с совсем другой семантикой внутренних отношений, прямо противоположной предыдущей: *суровый отец наказывает непокорного сына*. Имея свои аналоги в прошлом, она оказывалась в резонансе с пушкинской современностью, что остро и болезненно ощущал поэт. И. Шайтанов справедливо рассматривает «Мою родословную» как произведение, «...где все или очень многое впервые и сошлось за три года до “Медного всадника”». Сошлось связанное еще одним мотивом – личным...». При этом исследователь подчеркивает, что здесь открыто проявлялась родословная не героя, а поэта, судьбой которого частично станет судьба Евгения, «как частично и судьба Петра, к которой он опять имеет *личное, семейное отношение*» [4, 190].

К сложившимся в науке о литературе представлениям о воплощении темы Петра в творчестве Пушкина стоит добавить, что системная повторяемость *архетипа «отца и сына»* в произведениях его «петровского контекста», выступая *устойчивым фактором авторского сознания поэта*, во многом становится одним из ключей к пониманию «Медного всадника». Здесь иная, чем была ранее, художественная интерпретация данной семантической структуры в поэтике текста манифестирует важнейшие грани сложнейшей историософской концепции произведения. Именно в «Моей родословной», где в семейных отношениях «отцовства и сыновства» появляется дисгармония и пропадает идеализация «отца», заключен текстуально зафиксированный исток трагического конфликта «петербургской повести».

В этой поэме *Пушкин воплощает в одном тексте космогонию и эсхатологию мира, созданного Петром, его альфу и омегу*, мотивирует событиями прошлого катастрофу в настоящем и «конец времен» в будущем. Именно здесь ярко и полно проявляется такое свойство исторического мышления Пушкина, о котором очень точно писал Б. Греков: «...далекое прошлое, настоящее и будущее представлялись ему как нечто единое, непрерывное, одно из другого вытекающее» [5, 114].

Поэма «Медный всадник» знаменовала собой изменение художником-мыслителем *типа изображения отношений «отцовства и сыновства»* во всеохватном масштабе их действия в российской реальности и заняла совершенно особое место в «петровском контексте». Подчеркнем, что поэт создает единственное в своей «петриаде» и в русской литературе произведение, где вместо традиционных побед было показано *поражение царя*, угроза полного разрушения стихией созданного им града (в русле «семейной» семантики – Дома). Здесь нет ни одной безусловно положительной человеческой черты Петра («отца»), и не остается места какой-либо надежде на обновление мира, что выражается уходом из него Евгения («сына»). Неожиданный аспект проявления «отцовства и сыновства» в этом противостоянии видит Ю. Фесенко, отмечая, что «бедный чиновник, представитель порожденной петровскими нововведениями бесправной социальной группы сталкивается со своим... создателем» [6, 151].

В соответствии с этой отличительной чертой «Медного всадника» в нем развивалась не встречающаяся ранее в творчестве Пушкина *негативная сюжетная интерпретация «отца»* государства и народа с его «уздой железной»; города-мира, который роковой для всех его обитателей «отцовской» волей был основан «под морем» и оказывался подвержен ударам стихии. Разительной была и отчужденность в отношениях «отца и сына», совершенно лишенных идиличности и выступающих средоточием идеи произведения.

Так из пушкинской концепции «петербургской повести» уходит прозвучавшая в «Стансах» *идея позитивной царской преемственности*, претворяясь на противоположную в сфере действия архетипа «отца и сына».

Петр «Медного всадника» в обоих своих воплощениях вместе с прежней идеализацией оказывается лишен и своеобразной *скрытой дидактичности*, которая также была в других произведениях пушкинской «петриады» и предназначалась правящему самодержцу. Поэма

явно свидетельствует о том, что период ожидания плодотворного, деятельного диалога с правящим царем для Пушкина в тот момент уже завершился, а прошлое в его сознании окончательно сомкнулось с настоящим в замкнутый круг деспотического правления.

Художник снял с себя многие ограничения предыдущего периода общения с властью посредством творчества, мудро не выходя, вместе с тем, за рамки возможного. Он фактически говорил не оправдавшему его надежд царю о губительном наследии деспотизма Петра, об иллюзорном блеске державного великолепия, о подавленной в российском государстве человечности, о страшной силе народной стихии, о грядущих катастрофах и слабости власти перед их угрозой, выражая все это языком событийно-образной системы своего произведения. Поэт ставил правящего монарха, наследника царя-революционера, перед лицом негативных последствий его деяний, осмысляя их здесь глубоко критически, одновременно провидя трагическое грядущее города-государства *и своей собственной судьбы*. Об этом говорило развитие второй линии архетипа «отца и сына» в поэме «Медный всадник» по оси Петр – «бедный Евгений».

Благими упованиями на «доставление» себе трудом независимости и чести, возможность построения своего семейного космоса, а затем неутолимим горем и страданием от утраты, верностью погибшей возлюбленной, прозорливостью о зловещей сущности виновника бед своих и России, праведным, но одновременно «черным» бунтом и отказом от него, исходом из «града обреченного», лежащего во зле, жертвенностью и неотмирностью *герой Пушкина представлял своей человеческой и духовной сутью выше державного «отца»*. За всем этим стояло его горькое разочарование «сына», обманутого в своих надеждах на наперсничество и идейное служение, вместо этого «отцом» обездоленного и преследуемого. В сфере семантического притяжения интегральной оппозиции «Медного всадника» оказывались *мотивы сиротства и неосуществленного отцовства*, которые были связаны с самим Евгением, мечтавшим о продолжении рода и обретавшим в этом стремлении *онтологическую значительность*. Попутно заметим, что в современной науке в работах М. Виротайнен [7], Г. Красухина [8], Н. Сысоевой [9], Ю. Никишова [10] и некоторых других имеет развитие тенденция, возможно, берущая свой исток из статьи Андрея Платонова «Пушкин – наш товарищ», связанная с тем или иным преодолением традиционного причисления Евгения к типу «маленького» человека.

Подчеркнем, что образ Петра-Медного всадника совершенно лишен семантики света в отличие от конного образа в «Полтаве», сменившего ее здесь на противоположную: «Ужасен он в окрестной мгле!»

Таким образом, *семантический узел «отцовства и сыновства»* в «Медном всаднике», который выступает в произведении центральным звеном пушкинской художественной концепции власти, приобретает непримиримо конфликтную направленность, отличаясь этим от предыдущих текстов пушкинской «петриады». Между «отцом и сыном» нет положительного взаимодействия. «Отец» здесь не желает знать «сына», а последний терпит крушение в мире «отца» по его вине. И не случайно в краткой генеалогии «нашего героя» Пушкин мягко использует линию своей родословной, связанную с его отцовским родом, пострадавшим от Петра, а не с линией Ганнибала, знаменующей в его «петриаде» мотив наперсничества царю, которое для Пушкина не состоялось.

Своеобразие воплощения *отношений «отца и сына»* в поэтике «петербургской повести» явилось ярким показателем эволюции пушкинских представлений о генезисе власти в «новой России», и о власти, современной ему и выступающей ее логическим продолжением. Власть не желала, да и не могла что-либо изменить в своей сущности, а также в устройстве государства. Она была обречена править под знаком заложенной Петром и *непрекращающейся вражды* стихийной и государствообразующей силы – воды и камня, губительной для страны и для нее самой. Медный всадник в поэме – это принцип и символ власти, вбирающий в себя все ее конкретные персоналии и выступающий носителем семантики «отца». В основе его находится личность Петра, волею исторических судеб воплотившаяся в своих грандиозных делах и их последствиях, а затем обретшая охранительное статуарное инобытие. Ничего равного этому образу нет ни в одном другом произведении Пушкина. Еще и потому, что в

«петербургской повести» отныне и навсегда иссякает государственная «петербургская» ода, уступая место катастрофизму [11, 46].

Последняя поэма Пушкина, таким образом, заключала в формах своей поэтики глубину и полноту высокой правды о власти.

Вполне возможно, что «Медный всадник» знаменовал для поэта рубеж *определенной внутренней коррекции первоначальных представлений о властном «отцовстве»*. Поэтому трудно принять точку зрения В. Кантора, считающего, что «все художественное творчество поэта есть апофеоз Петровского деяния...» [12, 13]. Оставляя этот сложный вопрос открытым для будущих решений, стоит остановиться пока на том, что мировидение поэта выходило далеко за пределы политической плоскости бытия на совершенно иной его уровень, заключая в себе диалектику исторического и вневременного.

В «петербургской повести» совершается в формах поэтики имеющий известное предварение в «Моей родословной» *резкий мировоззренческий поворот*. Поэма предстает, по удачному определению Д. Медриша, «антисказкой». Ученый считает, что «...смысл «Медного всадника» к противостоянию сказке не сводится, но именно в процессе этого противостояния раскрывается» [13, 157].

Для нас важно то, что в «антисказочной» структуре поэмы по многим внешним и внутренним для Пушкина причинам отразилось его горькое понимание неосуществимости в пространстве российской государственности какой-либо гармонии, а царящей в нем жесточайшей и всепроникающей дисгармонии, охватывающей широкий семантический спектр «семейных» отношений. Поэтому свойственные «Сказке о царе Салтане» (1831) благополучные «отцовство и сыновство», супружество, устройство дома в «Медном всаднике» предстают в их незавершенном, неосуществленном, неподлинном, то есть, нисходящем, деструктивном выражении. Можно вспомнить угасший род Евгения, его бедность и не востребованность на достойное служение как результат отвержения «отцом», утрату им невесты, а вместе с ней потенциального супружества, отцовства – первичного семейного мира под домашней крышей, а в конечном итоге – *онтологической полноты бытия*. Можно вспомнить и Медного всадника, не сумевшего стать для порожденного им «града» со всеми обитателями подлинным «отцом» и защитником, а напротив – ввергшего его в гибельную катастрофу противостояния «земли и воды» [14, 38]. Именно он, согласно художественной концепции произведения, явился властной первопричиной дисгармонии пространства российской государственности, доставшегося венценосному адресату поэмы и имеющему в ней косвенное присутствие благодаря ассоциативно возникающей дуге совмещения исторических времен.

В «Медном всаднике» отразился весь колоссальный, трагический масштаб пушкинского разлада с властью и ее мирозданием в качестве отвергнутого «наперсника» в деле несостоявшейся «семейной» гармонизации «сверху». В таком мире для светлого гения, великого сына своего неблагополучного отечества не оказывалось ни достойного его державного «отца», ни места.

Особо подчеркнем принципиально важный момент, выступающий, на наш взгляд, ключевым для понимания эволюции воплощения Пушкиным темы Петра. Его оценка сильнейшим образом была связана для поэта с возможностью найти общий язык с Николаем I как его преемником на российском троне. В пушкинской реальности судьба цивилизации Петра зависела от выбора правящего царя. Пойди он по пути смятения, совершенствования, гармонизации грандиозного деспотического наследия – выиграло бы не только настоящее и будущее державы, но обрели бы утверждение ценности прошлого и получили оправдание его негативы как «болезни роста» и специфические личностные черты властителя, досадные, но не нарушающие общего прогрессивного начала.

Иными словами, речь шла о том, способна ли российская монархическая система к самореформированию, подтверждению жизнеспособности и доказательству своей нравственной легитимности, наличие которых всегда создает для подданных массовый стимул гражданского служения и искренней веры в будущее, выступающих признаками здорового социума. И в случае положительного царского выбора, всеми силами души желаемого поэтом,

рядом с именно таким царем он видел свое место в качестве деятельного «наперсника», а не придворного камер-юнкера.

Если бы новый монарх продолжил деспотическую линию правления Петра, оставив без изменений созданную им государственную систему, в основании которой лежало насилие, то прошлое, включающее его личные свойства, дела и их последствия с неизбежностью предстало бы тогда как преимущественное зло.

Такой была альтернатива. Со временем Пушкину стало ясно, что Николай I сделал свой выбор и реальность развивается по второму, худшему варианту. Период ожидания, связанный с надеждой, отразился в «петровском контексте» до «Медного всадника», пришедшая безысходность – в этой последней пушкинской поэме.

Для полноты картины стоит вспомнить о стихотворении «Пир Петра Великого» (1836). В нем можно увидеть внешнее повторение «довсадниковой» художественной манеры, связанной с идеализацией Петра. Уже после «петербургской повести» он предстает здесь великодушным «отцом», прощающим своих провинившихся подданных, попадающих под семантику «неразумных детей», в общей доброй и праздничной атмосфере примирившегося «семейства». Однако такое изображение являлось уже не поощрением правящего царя-«сына» примером великого предшественника-«отца», как это было в «Стансах» и «Арапе Петра Великого», а, скорее, жестким укором ему за нежелание проявить милосердие к декабристам. Динамика отношения к нему определяла эволюцию взгляда Пушкина на самодержца-реформатора и связанное с ним прошлое, на судьбу России и свою собственную судьбу.

Так в творчестве великого поэта возникала мировоззренческая формула, ощутимо перешедшая порог своего века, согласно которой *на оценку власти прошлой влияет состояние власти нынешней*. Под знаком этой формулы как заключительный аккорд ее воплощения, как итог мучительного постижения художником-мыслителем пришедшейся на его короткий век исторической реальности в свете вечных ценностей и был создан «Медный всадник».

Пушкинский подход к оценке прошлой власти и истинного лица власти наступившей становился универсальным для всех времен. Уроки «Медного всадника», не принадлежащего только ушедшему веку и удивительным образом оказавшегося в нескончаемом резонансе с движущейся российской действительностью, полны животрепещущих ассоциаций. Исследование художественной природы «петербургской повести» показывает её мощное литературное влияние в исторический период XX века и приводит к раскрытию особой роли произведения Пушкина для отечественной литературы и русского бытия, сопоставимой с функцией мифа. Без учёта этой главной специфики поэмы, преодоления многих стереотипов её восприятия, а также вне появления новых подходов к её поэтике, месту в творчестве Пушкина, инвариантному литературному потенциалу, системе связей с реальностью, – невозможно понять всю степень уникальности феномена этого творения, не имеющего аналогов в культуре России и зарубежных стран. В метафорическом зеркале «Медного всадника», созданного гением Пушкина, способна узнать себя любая российская эпоха. Возможно, в этом и заключается особая, сокровенная тайна великого пушкинского текста, оставленного поэтом своему отечеству на все времена.

1. Макогоненко Г. Творчество А.С.Пушкина в 1830-е годы (1833 – 1836). – Л., 1982.
2. Франк С. Пушкин как политический мыслитель // Пушкин в русской философской критике. – М., 1990.
3. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 тт. – М., 1981. – Т. 7.
4. Шайтанов И. Географические трудности русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // Вопросы литературы. – 1995. – Вып. 6.
5. Греков Б. Исторические записки // Известия АН СССР. – 1938. – № 2.
6. Фесенко Ю. История и современность в «Медном всаднике» А.С.Пушкина // Пушкин и Крым: 9-е Крымские Пушкинские Международные чтения (Гурзуф, 18-21 сент. 1999): Материалы: В 2-х кн. – Симферополь, 2000. – Кн.1.
7. Виролайнен М. «Медный всадник. Петербургская повесть» // Звезда. – 1999. – № 6.
8. Красухин Г.Г. Доверимся Пушкину. – М., 1999.
9. Сысоева Н.П. «Медный всадник» А.С.Пушкина как новый тип русского национального эпосотворчества XIX века // Третьи международные Измайловские чтения: Материалы: В 2 ч. – Оренбург, 2003.

10. Никишов Ю.М. Евгений против Петра в поэме Пушкина «Медный всадник» // Болдинские чтения / Под ред. Н.М. Фортунатова. – Нижний Новгород, 2004.
11. Перзек А.Б. Поэма А.С.Пушкина «Медный всадник» в современном освещении: проблемы художественной концепции и поэтики. Учебное пособие (спецкурс). – Кировоград, 2008.
12. Кантор В.К. Петра творенье, или Разгадка России // «Вопросы литературы». – 1999. – Вып. 3.
13. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. – Саратов, 1980.
14. Иваницкий А.И. Русская торжественная поэзия XVIII века и поздний Пушкин: (К вопросу о структуре и развитии русской дворянской модели мира Нового Времени). – М., 1999.